

На Высших литературных курсах учился вместе со мной писатель Иван Панькин, автор славной повести «История одной жизни», многих совершенно прелестных детских сказок и «Тульских сказов». Приехал он на эти курсы из Новосибирска. Там он работал на заводе, там, будучи рабочим, и писать начал. По национальности он мордвин, но еще в раннем детстве осиротел, покинул родные края и чего только не изведал, в каких «палестинах» не побывал! Мальчиком выступал в качестве акробата в цирке, затем ушел юнгой в заграничное плавание, долго был моряком, воевал на фронте. После демобилизации изведал массу профессий, и вот потянуло человека к перу, к бумаге, талант его был крепок, голос свеж, выдумщик он и рассказчик совершенно очаровательный, а вот в жизни человек беспомощный.

В семье у него двое детей: сын и дочь. Сын у него заболел такой болезнью, что в Сибири ему нельзя было жить, и после окончания курсов поселился Иван Панькин в Туле, соблазнившись близостью Москвы, где в издательстве «Детская литература» его охотно привечали и привечают, и еще тем, что в Туле есть свое издательство — и тень великого Льва Толстого витает над этой землей.

Тень-то там витала и витает, но вот в местной писательской организации царит толстокнижная, угрюмая серость, которая утверждать себя умеет только с помощью горлохватства, подсиживания и поедания друг друга. Сокурсника нашего начали есть и травить уже за одно то, что он талантлив и независим в суждениях. Он поступил работать редактором в местное издательство, сразу и охотно воспринял и полюбил местный трудовой народ, его славную и причудливую историю, его приверженность к «рукомеслу», и когда поручили Ивану писать какую-то очередную историю оружейного завода с перечислением его заслуг и патриотических начинаний, Иван Панькин вместо книги, которые обычно никто не читает, кроме директора завода, парторга и руководящего состава предприятия, взял да и написал «Тульские сказы». И какие! По своей народности, мастерству они, беру на себя смелость заявить, нисколько не уступают сказам Лескова. В этих сказах Иван Панькин делает то, что вообще в литературе редко кому удастся сделать, в современной тем более,— он создает образ ружейного мастера Тычки, которого и туляки, и все читающие воспринимают как подлинного, реально существующего. Образ этот укореняется в быту, начинает расселяться в народе в виде изделий из дерева, керамики, в рисунках, в масках, в празднествах. О нем читают вслух за семейным столом, со сцен клубов, уже и без упоминания автора...

А между тем автор, который работает столь мучительно и тщательно, что в год ему удастся напечатать один-два рассказа в три-четыре страницы, бедствует в полном смысле этого слова, и лишь несколько друзей, да и те живут в других городах, поддерживают его, да еще, тогда здравствовавший, стоит на своем и всячески опекает своего редактора и талантливого писателя директор местного издательства Николай Владимирович Виноградов.

Дочь учится в школе, сын в музыкальном училище оказывается самым одаренным музыкантом. Парня рекомендуют в консерваторию, единственного из училища за многие годы,— и сын Володя с блеском сдает экзамены в

консерваторию. Ему нужен инструмент — скрипка. Как Ваня искал и покупал скрипку — отдельная и очень трогательная новелла. Мы, друзья Ивана, помним, чтим его за талант и порядочность, а в Туле он ходит в... дурачках.

Ваня рассказывал мне, как однажды по редакторской работе его вызвали в обком и местный деятель начал над ним насмехаться, унижать его. «А я гляжу — на столе у него Тычка стоит, из корня сделанный, в виде чернильницы, и говорю ему: «Вот вы надо мной измываетесь, а на столе-то у вас мой Тычка стоит...»

Так и покатился со стула дуболом-деятель от смеха, слова не может сказать, только тычет в Ивана пальцем и заикается: «Тыч... Тыч... Ты-ы-ычка-а!»

А уж как пойдет, как повалятся камешки на бедного Ванюшку...

Шел съезд Союза писателей СССР. Много нас, бывших сокурсников, собралось в Москве. Панькина, конечно, нет. Не выбрали его на съезд. Если бы и наметили выбрать, обком не утвердил бы, ибо рекомендовали съезду ту самую толстокнижную серость, которая любить не умеет и ревновать не смеет, среди которой оказался и будущий злобный эмигрант Анатолий Кузнецов.

Но мы-то на что? Друзья-то?! Собрали деньжонок, трах-бах их телеграфом в Тулу. Ночью является наш Иван, плачет, обнимает нас. Смотрим, полысел, руки трясутся, глаза как-то неладно бегают. Достали мы Ивану гостевой билет на съезд, пошли в Кремль. Он костюм новый надел, галстук повязал, трезвый сидит, торжественный.

По поэзии доклад на этом съезде делал Сергей Сергеевич Наровчатов, который тогда же, прямо с трибуны, объявил, что заработок прозаиков у нас равняется 60—70 рублей, заработок поэта 40—50. Надо учесть, что в эту раскладку вошла и группа высокооплачиваемых старейших писателей, заработки же иных провинциальных писателей, знаю я, нищенские и жизнь их нищая. У того же Ивана Панькина в голой малогабаритной квартире сгнили матрасы на койках, не было постельного белья, не каждый день и еда на столе бывала...

И вот, значит, говорит секретарь правления Союза писателей СССР тов. Наровчатов с высокой трибуны о литературе и мимоходом повторяет, что если бы литературу, особенно поэзию, не засоряли разные там Петровы, Сидоровы, Ванькины, Панькины, то она и была бы на других, более крутых высотах...

Заплакал наш Ваня: «За что он меня, ребята, а? За что?»

И сколько мы ни говорили Ивану, что это всего лишь ораторская метафора, вскользь упомянутые безымянные фамилии, первыми попавшиеся в голову докладчика, что его, Ивана Панькина, Наровчатов не имел в виду, что ни сном ни духом о нем он не ведает, скорей всего и не читал ни одной его строки, — ничего не помогало: убитый, растерзанный, со слезами уехал в Тулу бедный Иван. Местные гаденыши из писателей, кто со смехом, кто так, давай травить мужика пуще прежнего, и дело кончилось тем, что однажды поутру пришел Иван Панькин к зданию КГБ и спросил у вахтера, здесь ли сейчас самый главный начальник? Вахтер ответил, что самый главный начальник еще почивают, но к девяти или к десяти утра непременно изволят быть.

В каком-то отделе КГБ попал Ваня на внимательного и доброго, видать,

человека и сообщил ему, что давно уже все кругом говорят, будто он никаким моряком не был и даже моря в глаза не видел. Ну ладно, писатель никудышный, как утверждают в Туле, может, и хозяин дерьмовый, погуливает, а дома часто жрать нечего и имущества шаром покати, но моряком-то он был, у него даже фотография, одна-разъединственная, правда, но сохранилась, он еще юнгой когда был, снимался. «Конечно, тут парень красивый, в кудрях, на меня уже мало похожий, но это я, ей-богу, я! А соседи за стеной вот уж которую ночь кричат: «Не был он юнгой! Не был!..»

Ивана Панькина определили в больницу, подлечили. Дочь его вышла замуж. Сын окончил консерваторию, сам писатель получает пенсию. Обкомовского деятеля, что травил Ивана, давно выперли с руководящего поста, примерли или присмирели злобствующие графоманы с билетами членов Союза писателей. Все как будто наладилось, но сколько острых осколков ранило сердце талантливого человека! Угасло его вдохновение, потускнела, примолкла буйная, цветистая, через край бьющая фантазия. Однако как в ту пору, когда задавливала нужда, и теперь, когда жить ему полегче, Иван не ударялся и не ударяется в литературную халтуру, не отдает в печать ни одной сырой, десятки раз не переписанной, до звона не отделанной строки.

Он настоящий работник в литературе, не опускающийся до сиюминутного успеха, до быстро проходящих, столь соблазнительных благ, и этого ему не может простить посредственность, которую мы часто, в особенности в провинции, охотно плодим, затем благодушно журим и равнодушно терпим.

Когда я поведал историю Ивана Панькина Александру Николаевичу, он долго взволнованно ходил, да не ходил — метался по своему кабинетику, в теплых козых носках, в валяных чувяках, и все восклицал:

— Да что же это такое! Да что же это такое! Вот уж воистину бедному Ванюшке... И Сережа, Наровчатов-то! Он же и не знает... Не-ет, ребята, надо о вас писать, надо открывать литературную Россию...

И тогда же поделился со мною замыслом будущей работы, пока еще приблизительно спланированной: первая статья обо мне, вторая — о поэтах Люкине, Василии Казанцеве, Владимире Жукове или Валентине Сорокине, которого А. Н. Макаров выделял среди курсантов и дружески к нему относился, затем снова о прозаиках, хотя и молодых еще, но уже «состоявшихся», — о Юрии Казакове, Георгие Семенове и о Викторе Конецком или о ком-нибудь из этой же «когорты».

— Ну, а потом и до ваших дружков доберуся, обретающихся там, во глубине России. Ох доберуся! Мне бы только оклематься маленько, с текучкой разделаться и пописать, в охотку пописать, не поденщину бы эту треклятую тянуть. Надоела она мне, ужасно надоела! Так хочется пописать для души, в собственное удовольствие.